

О РОССИИ, О ПУШКИНЕ, О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

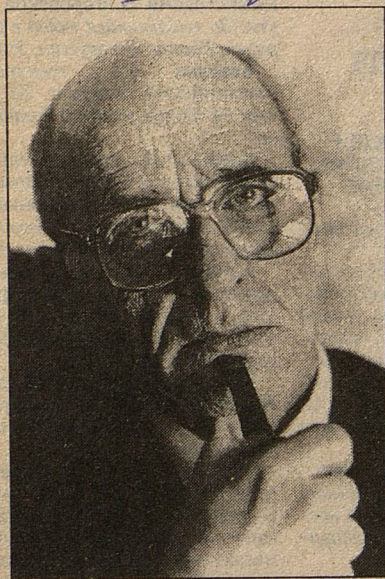
Размышляет писатель, председатель Пушкинской комиссии РАН
Валентин Непомнящий

*Независимая газета. — 2000.
— 14 дек. — с. 9, 11.*

Александр Щуплов

-ВАЛЕНТИН СЕМЕНОВИЧ, расскажите, пожалуйста, о себе, о своем жизненном пути.

— Вы начинаете с самого трудного вопроса. Поди расскажи вот так, сразу, свою жизнь. В которой — никаких особых приключений... Отец — всю жизнь газетчик, человек необыкновенно простой, честный и храбрый, на войну пошел добровольцем чуть ли не в первый день, был военным корреспондентом, вернулся живой и мог бы жить долго, поскольку был крепок, но война в конце концов его достала: два осколка застряли в легком, от них он и умер в 60-х, не дожив до моего возраста. Мать в молодости работала на фабрике в Ленинграде, потом в различных промышленных ведомствах, вышла в инженеры, к 50 годам окончила заочно вуз. Была очень и по-разному талантлива, в молодости постоянно пела песни, романсы, арии из опер и оперетт, а русская поэзия была, помоему, у нее в голове вся: множество стихов и поэму «Медный всадник» я с пяти лет знаю наизусть по слуху. В детстве, конечно, играл в Чапаева, в войну. Настоящую войну провел в эвакуации в Махачкале, узнал Кавказ, жил в аулах. Много читал: от «Жизни животных» Брэма до «Иуды Искариота» Леонида Андреева, зачитывался повестями Гоголя, Станюковичем, Куприным (его «Суламифь» навсегда показала мне, какова бывает высокая, чистая эротика), роскошным однотомником Жуковского (особенно трогала «Орлеанская дева», перевод из Шиллера), чуть не до дыр протер вузовскую «Хрестоматию по античной литературе», том I (Гомер, Софокл, Аристофан «Война мышей и лягушек» — сказочно увлекательно!) и благоуханное «Детство Никиты» Алексея Николаевича Толстого. Помните, Горький сказал: всем хорошим в себе я обязан книгам? Если продолжить эту, честно говоря, довольно странную



Валентин Непомнящий.
Фото Льва Зильбера

мысль, я бы добавил: и радио. Радио того времени — это было счастье. Кроме сводок с фронтов, последних известий и прочего — спектакли, большие детские передачи. Шалапин, оперы, симфоническая музыка, романсы, «Соловьи» Соловьева-Седого, «Заветный камень» Мокроусова, другие великие песни войны... Вообще все лучшее — и худшее тоже — закладывается в человеке в детские годы, хорошо бы это помнить. Жили — и тогда, и потом, да почти всегда — трудно и бедно, но как-то не делали из этого проблемы. Родители были великие труженики, всегда на работе, а на мне оставались две сестренки: поневоле научился хозяйничать самостоятельно, я всю жизнь много чего умею. С 1946 года я москвич. Окончание школы, университет (куда попал, может, и не совсем по заслугам: просто на филфак шли в основном девочки и наш брат был в цене). Тут же скажу: были и дру-

гие университеты, не менее важные. Один — детство, другой — деревня, без которой не мыслю жизни; в раннем детстве — Тысяцкое на тверской земле, у родичей матери, в зрелом возрасте — Деревеньки на Волге под Угличем, а вот теперь уже двадцать лет изба в родимой, хочется сказать, Махре, под Сергиевым Посадом, неподалеку от известной фабрики богородской игрушки. Еще — молодежная театральная студия в клубе Русакова в Сокольниках, куда поступил еще студентом, где многому важному в жизни научился, а к тому же обрел и друзей на всю жизнь, и жену. Ну а самое главное — моя семья: жена и сын, о которых говорить вот так, в двух словах, — миллион менять по рублю... После окончания МГУ — швейная фабрика № 3 (нынешняя фирма «Салют»), там я выпускал многотиражную газету, учился журналистскому ремеслу, пока мой факультетский друг Станислав Рассадин не перетаскил меня в «Литературную газету». И попал я в самую гущу довольно бурной общественно-литературной жизни начала 60-х. Борьба «левых» (либералов советского покроя) и «правых» (нынешних «левых»), противостояние «Нового мира» Твардовского и «Октября» Кочетова, стычки с цензурой, рост диссидентского движения, «Один день Ивана Денисовича». Узнал много разных, в том числе и знаменитых нынче, и просто замечательных людей, видел восход звезды Окуджавы и драму Владимира Максимова (Твардовскому не нравилось, как он пишет, и Володя, скрипя зубами, пошел в «Октябрь» к Кочетову). Что до меня, то головой я был бесспорно с «левыми», но что-то мешало быть либералом, сердце жило своей жизнью, к тому же расцветала «деревенская» литература, она задевала во мне какие-то глубокие струны (на них позже я и «сыграл» свою первую по-настоящему серьезную работу — о пушкинских сказках). К этой поре и относится мой дебют в пушкинистике, статья, опубликованная в «Вопросах литературы», знаменитых тог-

да «Воплях», и обратившая на себя внимание. Это было очень кстати, потому что скоро меня собрались из «Литературки» выгнать (за опубликование чьей-то критики в адрес одного из бывших столпов «пролетарской поэзии»). Тут и подоспело приглашение работать в «Воплях» — так что меня не выгнали, а «перевели». В этом-то журнале, одним из лучших тогда, я и проработал, считай, полжизни, тридцать пять лет — тоже своего рода университет. Там я окончательно освоил редакторское мастерство, стал на ноги как профессиональный пушкинист, выпустил в 80-х годах книгу «Поэзия и судьба» — одно издание, потом другое, расширенное (общий тираж их — 70000 — разошелся тогда в несколько дней, вспоминаю об этом сегодня с тоской). Ну, а в конце 80-х позвали меня в Институт мировой литературы: надо было возрождать затухшее там изучение Пушкина. Создали при институте Пушкинскую комиссию — своего рода постоянно действующую пушкинскую конференцию, — а десять лет спустя, в 98-м, заново учредили и сектор пушкинистики. То, что я стою во главе такого дела, конечно, подарок судьбы, но ноша нелегкая: я ведь, как бы это сказать, одинокий волк письменного стола и устного слова (лекции, радио, ТВ) и не очень гожусь в организаторы и начальники... Вот такая канва. Внешних событий, как видите, не густо, внутри интереснее, но тут нужен другой жанр.

— А исключение из партии?

— Ну, во всяком случае, крупное приключение. В партию я вступил еще на фабрике: как же, газета, идеологическая работа, а ты не в партии, говорило мне начальство. Ну я и вступил. Я был вполне советский молодой человек, обожал идею коммунизма и Октябрьскую революцию, после XX съезда КПСС считал, что Сталин испортил великое дело Ленина, что «порядочные люди должны идти в партию», и пр. Одним словом, все произошло «в рабочем порядке», и отнесся я к этому всерьез: на первом же партийном собрании выступил с критикой поведения директора. Но мне по молодости это простили: газету я все-таки делал хорошую. А вот позже не все прощали. Так, один поэт, очень известный, в порядке шуток сказал: мол, придет время, и всех, кто в партии, будем вешать. Ты что, возразили ему, там же и порядочные люди есть — вот Валя Непомнящий, например. Он задумался: «Да, парень хороший... а потом грустно заключил: — «Но придется...»

(Окончание на стр. 11)

(Окончание. Начало на стр. 9)

Ну вот, а еще через несколько лет, в 1968-м, когда я уже работал в «Воплях», и, побыв в партии, начал лучше разбираться в жизни и в советской власти, возникло так называемое «дело Гинзбурга и Галанскова»: их много месяцев держали в тюрьме без суда за составление «белой книги» (т.е. сборника документов) о другом знаменитом политическом процессе — Снявского и Даниэля. Появилось много резких писем и воззваний, и некоторые из них диссиденты — мои знакомые и друзья — предлагали мне подписать, а я отказывался.

— Почему?

— Да не нравилось мне, как все это написано. Не в плане словесности, а по духу: вопли и лозунги. Мне все это казалось сотрясанием воздуха, криками для шума. Это у диссидентов бывало часто и всегда мне претило. Среди них были люди замечательные, отважные, готовые страдать за свои убеждения (в отличие от диссидентов «поздних», ходивших сплошь в шикарных дубленках и «боровшихся» только за право уехать из «этой страны»), многие оценки, мнения, настроения их я от души разделял, но система взглядом в целом (тотальное отрицание, презрение к «этой стране» и «этому народу», слепое обожание Америки и вообще «свободного» Запада) мне была чужда. Вот я и не подписывал ничего. Но, как говорится, «завелся»: сел и написал письмо сам; потом его еще коллективно дорабатывали, впоследствии его называли «писательским» — там стояло двадцать пять подписей, среди них — Паустовского, Каверина, Марин Бениаминовны Юдиной, Войновича, Владимира Корнилова, другие весьма тогда громкие имена. Написано оно было спокойно, тихо, толерантно, опираясь только на материалы советской прессы, причем самой железобетонной, и как на палача показывало — на этих вот материалах, — что творится очевидное беззаконие. Вот это-то интеллигентное письмо и вызвало самую большую ярость наверху. Для начала меня и некоторых других выгнали из Союза журналистов, всех перестали печатать и упоминать, грозили наказаниями посерьезнее, пошли даже слухи, что «подписантов» будут выселять из Москвы. Двое сняли свои подписи. Мне тоже первые дни было очень не по себе. Тем более что я мгновенно обнищал: весьма и весьма приличная зарплата заведующего отделом сменилась очень скромным окладом младшего редактора. Но потом ничего: привык и успокоился (ведь, в общем-то, знал, на что шел). Меня протасили по длинной, жесткой лестнице — ступенек дюжина, а то и больше — различных разбирательств, вплоть до «беседы» с «парторганизатором» (был, оказывается, и такой титул). И везде было два требования: снять свою подпись и назвать того, кто дал мне на подпись это письмо. С первым пунктом было просто: я стоял как столб и сдвинуть меня было нельзя. А вот со вторым...

«Кто вам дал это письмо?», — что отвечать? Что я его автор? Я бы без колебаний так и сказал — при одном условии: если бы принял решение вступить в борьбу с режимом. Но я вовсе не собирался осваивать «военную тропу», по которой шли диссиденты, в том числе глубоко мною уважаемые, не по мне было это занятие: ни по характеру, ни по темпераменту и другим данным, — о чем я в порыве, продиктовавшем письмо, даже и не подумал. И оставалось отвечать одно: не скажу. Снаружи это выглядело, может, и героически, а внутри-то положение было дурацкое. Так бывает часто, когда человек лезет заниматься не своим делом. Ну и получил по заслугам. В должности понизили, книгу о сказках Пушкина в издательстве «Зарубили», писать для заработка в прессе и на радио пришлось под чужими именами, и так далее — чего еще было ждать исключенному из родной партии? Ах, жалко, ничего тогда не записывал: сколько пришлось наблюдать всякого в жизни и в людях. Кое-что, впрочем, запомнилось, в том числе смешное. Выхожу, скажем, из райкома КПСС измочаленный, но почти счастливый, иду в автомат, звоню домой, жена подходит: «Ну что?»

— Там, ну все в порядке.

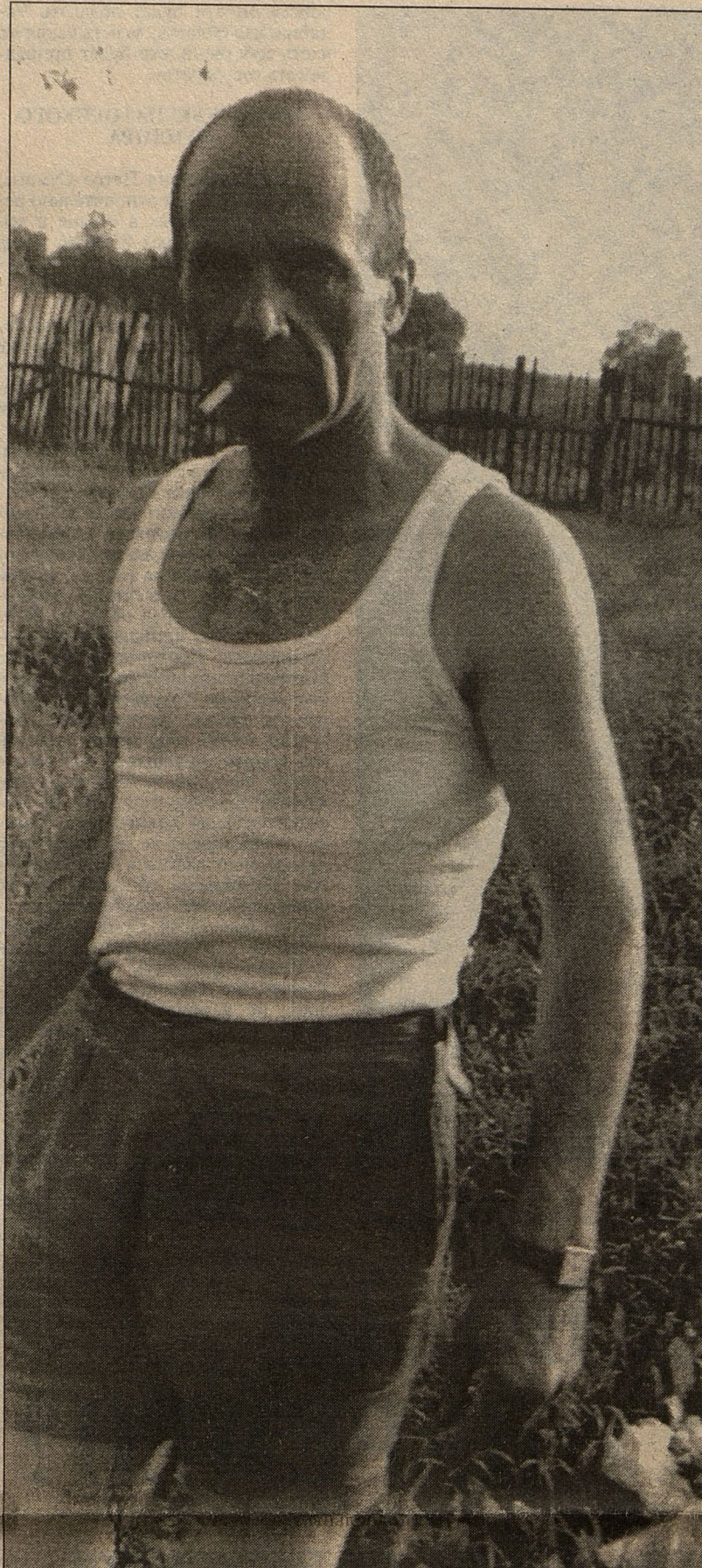
— Она с ужом?

— Что в порядке?!

— Все. Исключили.

— Господи, а я подумала, что нет... Слава Богу! Ну приезжай быстрее, у нас уже бутылка стоит.

И в самом деле: я, считавший тогда



Валентин Непомнящий в деревне.

строиться «нормальная» экономика («Ведь это же так просто!» — сказал недавно с улыбкой Боровой в каком-то очередном ток-шоу), а стало быть, и единая, тоже «нормальная», система ценностей, в которой главное — сколько у тебя денег. Но ведь существует, скажем, объективная скорость звука, однако быстрота прохождения звуком одного и того же расстояния в разных природных условиях различна! И так же в экономике и всем остальном. Единство мира держится его структурированностью, его разделением на нации, этносы, культуры, как единство народа — своеобразием личностей, как продолжение рода держится разделением людей на мужчин и женщин. Идея, «чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человеческим общением» (Майковский), — идея самоубийственная: если в большом помещении убрать внутренние перегородки, держащие потолок, — потолок рухнет. Если концепцию глобализации, то есть тотальной «конвергенции», довести до конца (а на полпути такие идеи никогда не останавливаются), человеческий мир разрушится и получится большая тухлая лужа.

— Все это вы говорите, разумеется, имея в виду нынешнее положение России?

— Конечно. Наши беды нынешние, естественно, неизбежны, получили в наследство от советской власти полуразваленную страну — просто раньше не всем и не во всем было явно, а сейчас явно всем и во всем. Но все же такой жути, как сейчас, могло бы не быть по крайней мере в таких масштабах, если бы людей, осуществлявших реформы, хоть на минуту, хоть на кончик мизинца интересовала бы страна, в которой они живут, ее история, ее традиции, ее духовный и душевный строй — по-нынешнему — менталитет; если бы они думали о том, что можно делать в «этой стране» и чего в ней делать нельзя. То есть если бы они вспомнили, что пальму не вырастить на Ямале, а березу в Сахаре; что есть некоторые объективные — удобные или неудобные для них, но объективные условия, которые непременно надо учитывать в своих проектах, и прежде всего то, что неуклюже названо «человеческим фактором». А иначе надо, как сказал Брехт, «менять народ». Но понятие *народ* — понятие огромное, культурное, духовное, метафизическое — они просто отменили, заменив его удобным, чисто экономическим, плоским термином «население». Для них «ведь это же так просто!» Сто лет назад, в 1899 году, Ключевский говорил: в начале XIX века стало рушиться «целое мировоззрение», со времен Петра основанное на убеждении, что на Руси много «во всем извернувшись чужим умом и опытом». В результате одни люди начали понимать, что это невозможно, что так с «русской действительностью» ничего не сделаешь, «что для этого нужны не та подготовка, не такие знания и навыки... что надо переучиваться и перестраиваться»; а другие произносили над Россией «отлучение от цивилизационного мира за то, что она не давалась ей пониманию без изучения...» Наши реформы пошли в основном по второму пути — по пути

Американская модель для него своя, она ему удобна, он ее родил и сам в ней родился, сад камней для него — глупость; гениальный наш клоун Вячеслав Полушин рассказывал, что в Америке ему пришлось переделывать свой номер, потому что американский зритель — слушайте! — «не способен больше трех секунд сосредоточиться на неподвижном объекте!» Нет, Полушин вовсе не ругал таких зрителей, и я не ругаю: они — такие, и это ни хорошо, ни плохо. Но мы-то так не можем. Русский человек, говорит пословица, долго запрягает, но быстро едет. Вот это — наша модель. Ни хорошая, ни плохая, а — наша. Мы — в ней, и она в нас. По-разному, конечно, но генотип — такой. А что получается, если этим пренебрегать? Получается та самая, не к ночи будь помянута, «обвальная приватизация», превратившаяся в грабеж народа. Получается развал, падение нравов, криминальная экономика, преступные власти, неслыханная коррупция, эмиграция мозгов, упадок науки, культуры, образования, преступность, в том числе детская, беспризорность, деградация семьи и прочая и прочая... И все потому, что «эта страна» в очередной раз была превращена в полигон для испытания и применения истин, утащенных из чужого кармана позднейдисидентско-номенклатурной компании, а сама по себе не интересовала никого.

— Вы уже прочно перешли к России, к тому, что в ней сегодня делается, по вашему мнению, не так. А как надо — знаете?

— Ну откуда же мне знать, я не экономист и не политик, это не моя работа. Все, что я говорю, — не экономический или политический диагноз, а — боль. Впрочем, есть у меня взгляд на геополитическое значение нашего Отечества. Россия, как известно, — это и Запад, и Восток. Помните, у Киплинга, знаменитое: «Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут». В самом деле, это два очень разных мира, которые в то же время не могут полноценно существовать друг без друга (как не могут полноценно функционировать по отдельности два полушария головного мозга: левое — «западное», логическое, и правое — «восточное», интуитивное). В силу этой разности Запад и Восток, сообщаясь, не должны в то же время приходить в жесткое соприкосновение. Как две половинки ядерного заряда, между которыми должно быть пространство. Вот это-то воздушное пространство и есть Россия. Другого такого места, где Восток плавно переходит в Запад и наоборот, на земном шаре нет. В этом уникальность положения России, и этим диктуется ее роль в мировой истории и судьбах человечества: ее существование предохраняет мир от катастрофы, сравнимой с ядерной. Думаете, я преувеличиваю? Но давайте вспомним явление, вызывающее ныне, быть может, наибольший ужас западного человечества: восточный фундаментализм с его ваххабизмом, терроризмом и прочим, на чем он так пышно расцвел, особенно в последние годы. Прежде всего это реакция на глобальную агрессию американизма (я имею в виду не собственно США, хотя и это тоже, а скорее идеологию, фило-

софию, образ жизни) как проявление ненависти к «лукавому Западу» (выражение Пушкина), к его претензиям на мировое господство, к его так называемой свободе, которая на самом деле ведет человечество в джунгли потребительского «прогресса». Вся жестокость исламских установлений, моральных предписаний, вся убежденность мусульманства, что земная жизнь человека — слишком мизерная ценность перед лицом Аллаха и по сравнению с Эдемом, — все это возстало против американского прагматизма, культуры лукавой вседозволенности «в рамках закона», оголтелой погони за удовольствиями земной жизни, в конечном счете против бездуховности, да еще агрессивной. Возстало — и, конечно (как

общечеловеческой миссией согласуется ее система ценностей. Не буду особенно распространяться на эту тему, отошло интересующихся к моей кноте «Пушкин. Русская картина мира» (М., 1999). В ней предложена типология христианских культур (и соответственно — «рождественское», а восточное (главным образом Россия) — «пасхальное»). Отсюда целый ряд следствий, относящихся, подчеркну, не к догматам, канонам, философским и богословским системам, а к практической разности ценностных систем, управляющих жизнью людей там и там. Все эти следствия — не буду их перечислять — можно свести к одному для каждой из этих культур знаменателью. Западный человек не статистически, вообще (не эмпирически, а в общей массе) свою сторону ценностей строит вокруг *своего интереса* (какого — другой вопрос), а российский человек — вокруг идеала. В «рождественском» понимании, Христос родился (и умер) для того, чтобы я *жил* лучше. В «пасхальном» понимании, Христос умер (для этого и родился), чтобы я *был* лучше. Это грубо сформулировано, я понимаю, но — для ясности... Во всяком случае, никто не будет отрицать, что Запад уже давно делает акцент на *качестве жизни* (у нас и понятия-то такого не было, оно из Америки пришло), а Россия — на *цели жизни*, и соответственно центральная тема западной культуры (за исключением гениев, гигантов) — судьба человека, а русской, и притом всей, — *поведение человека* (наглядная иллюстрация — английский фильм «Онегин», то есть как там прочтен и истолкован пушкинский роман).

Конечно, многие сейчас обидятся за Запад, скажут, что я приукрашиваю жуткую нашу Россию с ее неустойчивым, безалаберностью, пьянством и пр. и пр. Да нет, я этого не хочу, я не об этом. Ведь и безалаберность наша, и пьянство, и прочее — еще и оттого как раз, что в душе нашего человека есть идеал, который явно на земле недостижим. Жажда идеала есть, а сил тянуть-ся к нему чаще всего нет. Чтобы успокоить оппонентов, скажу: мы, русские люди, часто гораздо хуже своей системы ценностей. А западный человек, надо думать, во многом лучше своей. Наш отсчет от идеала — тяжкая ноша, от этого и все величие России, и ее особенность в мире, «странность», и ее несчастья и горести. Русский (российский) человек никогда не испытывал особого интереса к работе только ради денег (ради бутылки — бывает), ему интересно что-то сделать, создать, достигнуть, воплотить — и тут-то он не прочь и даже побольше получить. Об этом, собственно, и говорил горьковский Сатин: «Мне говорят: работай! Работай!.. А ты сделай так, чтобы работа была мне приятна, и тогда я, может быть, буду работать». Пусть это демагогия, красивые слова — но ведь понимает же красоту «приятной» цели, которая — *не в деньгах*. Не зря в нашем языке — а язык знает всю правду — «делать дело» и «делать деньги» никогда не были синонимами, как в выражении «make business». В общем, так или иначе, хороши мы или плохи, но тот отсчет от идеала, что является основой нашего менталитета, есть, на мой взгляд, одна из высших человеческих ценностей (если не высшая); на языке строителей — замковый камень, держащий свод. Краеугольный камень. Тот, о котором в Евангелии сказано: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла: это — от Господа, и есть дивно в очах наших». Стоит «строителям» прогресса окончательно «отвергнуть» этот отсчет, еще пока свойственный России, окончательно признать, что жизнь и историю надо строить не на стремлении к высоким идеалам, а лишь на «реально» достижимых интересах — произойдет то, от чего закликает Пушкин: «...Неба своды, Творец, поддержаны Тобой; да не падут на сушь и воды и не подавят нас собой».

— Не мрачно-то?

— Что же тут мрачного? У человечества есть выбор: оно еще может вспомнить, что человек не животное, существующее по закону простейших потребностей еды, питья, благополучия и прочих житейских удовольствий и интересов, что есть более высокие ценности... Вот если бы у человечества уже не было такого выбора, если бы все идеалы укладывались в рекламный призыв «Бери от жизни все» — вот это была бы мрачная картина. А Пушкина

меня работа, потому что я читаю «Онегина» вслух — как и стихи Пушкина. Иначе я Пушкина исследовать и понимать не могу. С детства я привык, что поэзия — слово звучащее. Поэзия, как известно, родилась из песни. А рифма — из ораторской прозы. То есть только в звучании поэзия может дать нам возможность осмысления на необходимую глубину. Это нужно мне для работы. Я много лет пишу книгу о «Евгении Онегине» — по главам. Каждая глава моей книги будет посвящена каждой главе «Онегина». Я убежден, что «Евгений Онегин» написан для нас. Адекватно он может быть понят именно сейчас, когда вопрос национального спасения зависит от возможности нашей национальной самоидентификации, от возможности понять, кто мы. Иван Шмелев в 1937 году (столетие со дня смерти Пушкина) сказал замечательные слова: «Встреча с Пушкиным на грани столетия, может быть, даже и предугадана Высшей Волей: помните свое! не теряйте себя! создавайте себя, кто вы! откуда вы! из какой стихии! какого корня! помните, что эта стихия создала Пушкина! Скажут иные: «а что теперь? где и какая Россия ваша?» Нас это не смутит нисколько: мы знаем пророка нашего: «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат...» И не случайна наша встреча с ними: да укрепимся».

— Как вам работаете в жюри «Литературной премии Александра Солженицына»? Не оказывает ли Солженицын давление на членов жюри?

— Конечно, оказывает, а как же? Но это взаимно: мы тоже, то по отдельности, то группами, оказываем на него давление и порой небезуспешно. Ну, конечно, все-таки его мнение учитываем в первую очередь — премия-то солженицынская.

— Как вы относитесь к обилию литературных премий в наши дни?

— Это, думаю, не столько показатель успехов литературы, сколько своего рода допинг, вкалываемый культуре. Шум, имитирующий бурную литературную жизнь и большие успехи. Не хочу сказать, что сейчас нет хороших писателей, но в целом картина, ей-богу, трагическая. Станали-стонали под гнетом тоталитаризма, боролись-боролись за правду, ждали-ждали свободы — и вот свобода грянула — и что? Где шедевры и открытия? Где слезы читателей? Вместо настоящей культуры — обилие культурных акций. Впрочем, это уже тривиально, всем все ясно. Не всем ясно другое. Свобода, взятая из их питательной среды, превращенная в абсолют, в фетиш, в самоцель, тут же разлагается и начинает дурно пахнуть. Сейчас есть писатели, а литературы русской нет. И неудивительно: с модной идеей насчет того, что, мол, хватит литературе быть служением, надо быть игрой, как в «цивилизованном мире», с этим литература русская перестанет быть великой державой, какой была, и станет банановой республикой. Еще раз повторю: каждый должен делать свое дело, а не чужое, это и к русской литературе относится. Впрочем, может, не надо слишком увлекаться: в конце концов второе- и третьестепенные сочинители всегда уважали почву, на которой вырастало великое.

— У нас получилась очень серьезная беседа. Как складываются ваши отношения с юмором, смехом? Занимались ли вы смеховой культурой? Признаете ли юмор на бытовом уровне, в форме, например, анекдотов?

— Неужели я произвожу впечатление человека без юмора? Как жаль. Да, сложилось так, что я все время думаю об очень серьезных вещах. Жизнь заставляет. Но я очень смешлив. В «Вопросах литературы» я всегда сочинял обращения к нашим именитикам. В прозе и стихах, от которых все валилось. Хотел бы написать о смехе и юморе Пушкина, да руки не доходят. Хорошие анекдоты бесконечно люблю, и сам умею их рассказывать. Только не с эстрады. Анекдот прекрасен дома, в тесной компании, за столом, пожалуй, и в полвороте, пусть один на один — но только не как эстрадный номер: это девальвация жанра. Смеховой культурой не занимался, да мне и не нужно было, этой культуры у меня достаточно дома: самая смешная артистка на свете — это моя жена, изумительная, неповторимая актриса Татьяна Непомнящая, которой когда-то зал Центрального Дома литераторов аплодировал стоя, которую зало театральной публики многих городов Союза, куда приезжал театр «Скоморох» под руководством Юмичева, в котором и

ше «свободного» Запада) мне была чужда. Вот я и не подписал ничего. Но, как говорится, «завелся»: сел и написал письмо сам; потом его еще коллективно дорабатывали, впоследствии его называли «писательским» — там стояло двадцать пять подписей, среди них — Паустовский, Каверина, Мария Вениаминовна Юдиной, Войновича, Владимира Корнилова, другие весьма тогда громкие имена. Написано оно было спокойно, тихо, толерантно, опираясь только на материалы советской прессы, причем самой железобетонной, и как на палках показывало — на этих вот материалах, — что творится очевидное беззаконие. Вот это-то интеллигентное письмо и вызвало самую большую ярость наверху. Для начала меня и некоторых других выгнали из Союза журналистов, всех перестали печатать и упоминать, грозили наказаниями посерьезнее, пошли даже слухи, что «подписантов» будут выселять из Москвы. Двое сняли свои подписи. Мне тоже первые дни было очень не по себе. Тем более что я мгновенно обнищал: весьма и весьма приличная зарплата заведующего отделом сменилась очень скромным окладом младшего редактора. Но потом ничего: привык и успокоился (ведь, в общем-то, знал, на что шел). Меня протаскили по длинной, жесткой лестнице — ступенек дюжина, а то и больше — различных разбирательств, вплоть до «беседы» с «партисделователем» (был, оказывается, и такой титул). И везде было два требования: снять свою подпись и назвать того, кто дал мне на подпись это письмо. С первым пунктом было просто: я стоял как столб и сдвинуть меня было нельзя. А вот со вторым...



Валентин Непомнящий в деревне.

«Кто вам дал это письмо?» — что отвечать? Что я его автор? Я бы без колебаний так и сказал — при одном условии: если бы принял решение вступить в борьбу с режимом. Но я вовсе не собирался осваивать «военную тропу», по которой шли диссиденты, в том числе глубоко мною уважаемые, не по мне было это занятие: ни по характеру, ни по темпераменту и другим данным, — о чем я в порыве, продиктовавшем письмо, даже и не подумал. И оставалось отвечать одно: не скажу. Снаружи это выглядело, может, и героически, а внутри-то положение было дурацкое. Так бывает часто, когда человек лезет заниматься не своим делом. Ну и получил по заслугам. В должности понизили, книгу о сказках Пушкина в издательстве «зарибили», писать для заработка в прессе и на радио пришлось под чужими именами, и так далее — чего еще было жалеть исключенному из родной партии? Ах, жалко, ничего тогда не записывал: сколько пришлось наблюдать всякого в жизни и в людях. Кое-что, впрочем, запомнилось, в том числе смешное. Выхожу, скажем, из райкома КПСС измочаленный, но почти счастливый, иду в автомат, звоню домой, жена подходит: «Ну что?»

— Таня, ну все в порядке. Она с ужасом: — Что в порядке?! — Все. Исключили. — Господи, а я подумала, что нет... Слава Богу! Ну приезжай быстрее, у нас уже бутылка стоит. И в этом деле: я, считавший тогда себя атеистом, понял, что права пословица: что Бог ни делает, все к лучшему (разумеется, добавлю сегодня, если ты не считаешь себя умнее Бога). За это время я узнал, сколько добра могут сделать люди друг другу. Главный редактор «Вопросов литературы» Виталий Михайлович Озеров, дай Бог ему здоровья, спокойно мог бы выгнать меня из журнала на улицу — но лишь понизил в должности (чего не сделать на своем месте не мог), то есть поступил необычайно благородно в тех условиях. Ответственный секретарь Евгения Кацева на всех инстанциях бросалась за меня, как говорила в редакции, на все амбразуры. Корней Чуковский, узнав о том, что я понижен в должности и что погублена моя книга, передал мне 400 рублей, кучу денег по тем временам. И эти книги не вышла, оказалось хорошо: выйди она тогда в том несовершенном виде, как была, я бы позже волосы на себе рвал. Чтобы дать мне подзаработать и прийти в себя, редакция отправила меня в Кабардино-Балкарию — взять интервью (анонимное, конечно) у Кайсына Кулиева, и замечательный поэт (в сознании сограждан имевший статус почти президентский) принял меня со словами: «Тебя сослали, как Лермонтова!» и помог мне «отключиться» по полной, так сейчас говорит, программе. А когда я брал у него интервью — в изумительном кафе над рекой, — вершины гор вдруг очистились от туч, и я увидел далеко, высоко тот самый монастырь на Казбеке, которому Пушкин посвятил знаменитое стихотворение. «Как тебе повезло!» — сказал Кайсын. А самое главное — исключенный из партии, я испытал восхитительное чувство освобождения: как стеножаренная лошадь, с

которой сняли путы. Словно какие-то обручи спали с души и сознания. И когда ко мне подходили как к пострадавшему с соболезнующим и унылым: «Ну как?» — это и трогало, и смешило, и раздражало, хотелось поблагодарить и тут же послать подальше...

— А как сейчас складываются ваши отношения с политикой, следите вы за ней?

— Следить слежу, а отношения... Да никак они не складываются. Не мое, повторю, это дело — политика. Уж слишком сложные у нее отношения с правдой. К тому же в любой ситуации, где нужна политика — пусть даже в мелком бытовом смысле, — я могу попасть в просак, ляпнуть не то, поэтому ни в диссидентстве не годился, не с нынешней политикой отношений не имею. Каждый должен заниматься своим делом — тем, что у него хорошо получается.

— А как вы относитесь к участию в политике ученых и служителей муз (Губенко, Говорухин и др.)?

— Да дело ведь не в профессии. Иная кухарка и в самом деле может участвовать в управлении государством, Александр Меншиков торговал, если не ошибаюсь, пирогами, а вышел в сподвижники Петра. Дело в твоих данных, в таланте наконец; талант (не хитрость, не нахрап, не грубая сила и не изворотливость — талант!) нужен в политике, как и в любом деле. Иногда с этим совпадают свойства той или иной профессии, выбранной человеком. Это, кстати, касается профессии режиссера, коли вы называли Говорухина и Губенко. Режиссерское дело — по природе своей занятие стратегическое и тактическое (в том числе и в отношении с людьми). Иной ученый тоже вполне может заниматься политикой, если у него есть стратегические качества и умение заражать, вести за собой. И еще — реально мыслить не только в науке и прочих высоких областях. На одних благородных помыслах и высоких истинах политику делать невозможно, тут мало быть «хорошим человеком». Андрей Дмитриевич Сахаров был более чем хороший человек — замечательный человек, может, даже с качествами святого человека, и хотел он только хорошего, а наломал дров. Его теория конвергенции, призывы, чтобы мы, извините, писали с Америкой, с Западом в одну луночку, и некоторые другие идеи — все это... Всю эту кашу мы теперь и хлебам. Гениально конкретный в своей физике, он был в

политических концепциях, мне кажется, слишком абстрактен. Что-то от гуманистической утопии единого счастливого человечества. Как будто для всех наций, культур, цивилизаций может существовать одна колода свободы, счастья и прочего. Думаю, это величайшее заблуждение. У каждого человека, у каждой личности, если это личность, а не просто особь, свои представления о счастье, о благополучии, о свободе, о любви, свои масштабы и мерки. На этом, кстати, и стоит как западный индивидуализм (здесь это не оценка, а термин), так и Западом же сформированная концепция «прав личности» как высшей гражданской ценности. Но ведь нация, народ — это тоже в своем роде личность! И не менее, простите, ценная и неповторимая, чем моя или ваша, и ее натура, представления, потребности, идеалы и прочее, одним словом, ее права не менее неприкосновенны и достойны уважения, чем «права человека». Между тем человечество силой навязывается в наше время одна модель «цивилизованного мира» — американская, чрезвычайно, может быть, эффективная экономически, но необязательно убогая духовно (ведь все, что есть значительного в культуре Америки, от джаза до Фолкнера, питается, точнее питалось, европейскими традициями и негритянско-индейскими корнями, больше в культуре этой страны ничего великого нет и, думаю, не будет). Кто не соответствует этой модели и сопутствующим ей представлениям о ценности, того можно бомбить, душить эмбарго, загонять в угол иными «санкциями», растлевать рыночной и «культурной» агрессией. В советской исторической науке была такая формула: «Царская Россия — жандарм Европы». Даже если бы так, это детские игрушки по сравнению с ролью Штатов в нынешнем мире. Те, кто продолжает жить по-своему, обречены не войти в прославленный «золотой миллиард» — не имеют, стало быть, права на счастье. Помните Бармалея из нашего фильма: «Вы будете у меня счастливы, а не то я вас в бараний рог скручу!» Ведь это была сатира на большевистский тоталитаризм. Настала пора тоталитаризма американистского, тоталитаризма либерального — и бармалевская формула ему в самый раз... Одним словом, превозноса «права человека», презирают права народов, наций, культур. Говорят: существуют объективные экономические законы, вот на них и должна

игнорирования «русской действительности» и высокомерного презрения к ней. По «единственно верному» (как когда-то марксизм) пути, преимущественно американскому. Но мы же не Америка! То, что на Западе получается по-своему хорошо, у нас не может не получиться уродливо; и это правильно, это нормально — мы другие люди, ладно, пусть хуже, чем они, допустим, но — другие. Не могу забыть: в какой-то телепередаче — рассказ о какой-то американской эстрадной то ли звезде, то ли просто популярной певице. Не шла у нее карьера, не плыла ей удача в руки, пока она не сделала одно открытие: «Я поняла, что я товар!» (восторг и роскошная американская улыбка). И все пошло как надо... Ну что может тут вспомнить человек, воспитанный на русской литературе, да вообще, родившийся и выросший в России? Конечно, «Бесприданница» Островского: «Лариса (глубоко оскорбленная). Вещь... да, вещь!.. я вещь...» Наконец, слово для меня найдено... — после этого она и умирает — не потому, что в нее стреляют, а потому, что жизнь ей не нужна. Вы, может быть, скажете, что я меряю современного человека мерками прошлого (теперь уже почти позапрошлого) века? Но тут не эмпирика нужна и не статистика, речь идет о духовном генотипе. Да, далеко не каждая наша женщина так скажет и так поступит, как Лариса, но большинство наших женщин так чувствуют, как она, — это и есть «менталитет». А если уж русская, российская женщина из этого духовного строя выпадет, то берегитесь такой: это будет не американская красота, а чудовище. Можно изменить убеждения головы, можно усвоить чужую идеологию, но попортить свою природу, свою душу — это так, даром, никому не проходит. Говорят об экономических успехах Японии, но какая ценой они куплены? Японец-созерцатель, он поклонник красоты, в трех строках японского хокку вмещается целый мир, японский поэт может стенать: «Камнем бросьте в меня! Ветку вишни я сейчас обломил!» Японец часами может сидеть и любоваться своим садом камней; а сейчас он бега-ет как угорелый с утра до вечера, подхлестываемый плеткой экономического прогресса, становится от этого нервным, раздражительным, становится хуже себе самого, уродует свою неповторимую народную личность — потому что живет, в общем, по американской модели. Американцу-то что?

— Вы уже прочно перешли к России, к тому, что в ней сегодня делается, по вашему мнению, не так. А как надо — знаете? — Ну откуда же мне знать, я не экономист и не политик, это не моя работа. Все, что я говорю, — не экономический или политический диагноз, а — боль. Впрочем, есть у меня взгляд на геополитическое значение нашего Отечества. Россия, как известно, — это и Запад, и Восток. Помните, у Киплинга, знаменитое: «Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут». В самом деле, это два очень разных мира, которые в то же время не могут полноценно существовать друг без друга (как не могут полноценно функционировать по отдельности два полушария головного мозга: левое — «западное», логическое, и правое — «восточное», интуитивное). В силу этой разности Запад и Восток, сообщаясь, не должны в то же время приходить в жесткое соприкосновение. Как две половинки ядерного заряда, между которыми должно быть пространство. Вот это-то воздушное пространство и есть Россия. Другого такого места, где Восток плавно переходит в Запад и наоборот, на земном шаре нет. В этом уникальность положения России, и этим диктуется ее роль в мировой истории и судьбах человечества: ее существование предохраняет мир от катастрофы, сравнимой с ядерной. Думаете, я преувеличиваю? Но давайте вспомним явление, вызывающее нынче, быть может, наибольший ужас западного человечества: восточный фундаментализм с его вахабизмом, терроризмом и прочим, на чем он так пенно расцвет, особенно в последние годы. Прежде всего это реакция на глобальную агрессию американизма (я имею в виду не собственно США, хотя и это тоже, а скорее идеологию, фило-

софию, образ жизни) как проявление ненависти к «лукавому Западу» (выражение Пушкина), к его претензиям на мировое господство, к его так называемой свободе, которая на самом деле ведет человечество в джунгли потребительского «прогресса». Вся жестокость исламских установлений, моральных предписаний, вся убежденность мусульманства, что земная жизнь человека — слишком мизерная ценность перед лицом Аллаха и по сравнению с Эдемом, — все это восстало против американского прагматизма, культуры лукавой вседозволенности «в рамках закона», оголтелой погони за удовольствиями земной жизни, в конечном счете против бездуховности, да еще агрессивной. Восстало — и, конечно (как всякая крайность), приобрело чудовищные, уродливые формы. В сущности, одно из главных и самых грозных противостояний в современном мире — вот эта форма противостояния Востока Западу. Два волка стоят друг против друга и рычат: на одном чалма, на ней написанно: «Запрещено все!» — на другом овечья шкура, а на ней: «Разрешено все, что не запрещено». Надеюсь, меня не заподозрят в симпатиях к вахабитам; я просто иллюстрирую мысль о важности геополитической роли России на фоне отношений Запада и Востока... И вот что еще. Роль «воздушного пространства» между двумя половинками заряда — такими половинками такого заряда! — не может играть маленькая страна. Россия должна обязательно быть очень большой страной. Она должна быть именно империей, то есть огромным государством, в котором мирно живут разные народы, «западные» и «восточные» или совмещающие в себе качества того и другого миров (такой — при всех своих бедах и недостатках — и была, в общем, Российская империя, где мирно уживались, оставаясь разными, национальностями, верования, бытовые и духовные уклады). Я хочу подчеркнуть: Россия должна быть такой в интересах всего человечества; всякая попытка уподобить ее чему-то другому, заставить ее жить по чужим рецептам, западным или восточным, неважно — иначе говоря, всякая попытка упразднить Россию как таковую — есть шаг к взрыву, к общему мировой катастрофе. Политики — и наши, и западные — должны наконец это понять, научиться смотреть дальше своего носа.

И с этим геополитическим положением России, с ее, не побоюсь сказать,

Америкой пришла, а Россия — на цели жизни; и соответственно центральная тема западной культуры (за исключением гениев, гигантов) — судьба человека, а русской, и притом всей, — пове-дение человека (наглядная иллюстрация — английский фильм «Онегин», то есть как там прочтен и истолкован пушкинский роман). Конечно, многие сейчас обидятся за Запад, скажут, что я приукрашиваю жуткую нашу Россию с ее неустойчивым, безалаберностью, пьянством и пр. и пр. Да нет, я этого не хочу, я не об этом. Ведь и безалаберность наша, и пьянство, и прочее — еще и оттого как раз, что в душе нашего человека есть идеал, который явно на земле недостижим. Жажда идеала есть, а сил тянуть-ся к нему чаще всего нет. Чтобы успокоить оппонентов, скажу: мы, русские люди, часто гораздо хуже своей системы ценностей. А западный человек, надо думать, во многом лучше своей. Наш отсчет от идеала — тяжкая ноша, от этого и все величие России, и ее особенность в мире, «странность», и ее несчастья и горести. Русский (российский) человек никогда не испытывал особого интереса к работе только ради денег (ради бутылки — бывает), ему интересно что-то сделать, создать, достигнуть, воплотить — и тут-то он не прочь и денег побольше получить. Об этом, собственно, и говорил горьковский Сатин: «Мне говорят: работай! Работай!.. А ты сделал так, чтобы работа была мне приятна, и тогда я, может быть, буду работать». Пусть это демагогия, красивые слова — но ведь понимает же красоту «приятной» цели, которая — не в деньгах! Не зря в нашем языке — а язык знает всю правду — «делать дело» и «делать деньги» никогда не были синонимами, как в выражении «make business»... В общем, так или иначе, хороши мы или плохи, но тот отсчет от идеала, что является основой нашего менталитета, есть, на мой взгляд, одна из высших человеческих ценностей (если не высшая), на языке строителей — замковый камень, держащий свод. Краеугольный камень. Тот, о котором в Евангелии сказано: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла: это — от Господа, и есть дивно в очах наших». Стоит «строителям» прогресса окончательно «отвернуть» этот отсчет, еще пока свойственный России, окончательно признать, что жизнь и историю надо строить не на стремлении к высоким идеалам, а лишь на «реально» достижимых интересах — про-изводстве, от чего заклинает Пушкин: «...Неба своды, Творец, поддерживай Тобой; да не падут на сушь и воды и не подавят нас собой».

— Не мрачно-то? — Что же тут мрачного? У человечества есть выбор: оно еще может вспомнить, что человек не животное, существующее по закону простейших потребностей еды, питья, благополучия и прочих житейских удовольствий и интересов, что есть более высокие ценности... Вот если бы у человечества уже не было такого выбора, если бы все идеалы укладывались в рекламный призыв «Бери от жизни все» — вот это была бы мрачная картина. А Пушкина я процитировал потому, что вообще все, что я здесь говорю, внушено не чтением политической или иной литературы, а изучением русской культуры и Пушкина как ее центра, как воплощения — не «экзотического», не «специфического», а всестороннего — воплощения духа России...

— Вот уже несколько лет под вашей общей редакцией Пушкинская комиссия ИМЛИ РАН выпускает ежегодник «Московский пушкинист» и «Пушкин в XX веке»... — Это большое счастье, что при моем посредстве в Москве выходят эти две серии. Раньше периодические пушкинские издания были только в Петербурге, в Москве ничего не было. Это заслуга московского правительства и Московского комитета по науке и технологиям, финансирующего эти издания. Сейчас пушкиноведению угрожает кризис, и то, что пушкинисты как-то объединяются вокруг наших ежегодников, вокруг Пушкинской комиссии, очень важно. Еще мы начали выпускать совершенно новое Собрание сочинений Пушкина, где все произведения размещены не по отдельным полочкам (лирика, поэмы, драмы и пр.), а в том хронологическом порядке, в каком они возникали, образуя единый контекст. Это дает возможность взглянуть на Пушкина совсем новым взглядом. Первый том вышел, на издание второго денег пока нет... — Что за цикл бесед вы проводите в Московском театре «Новая Опера»? — Это не беседы, не концерты и не лекции. Это публичные вечера, своего рода абонемент. «Восьмью вечерами с «Онегиным». Параллельно такой же цикл идет в доме Нащокина в Гагаринском переулке. Это очень важная для

— Как вам работаете в жюри «Литературной премии Александра Солженицына»? Не оказывает ли Солженицын давление на членов жюри? — Конечно, оказывает, а как же? Но это взаимно: мы тоже, то по отдельности, то группами, оказываем на него давление и порой безуспешно. Ну, конечно, все-таки его мнение учитываем в первую очередь — премия-то солженицынская. — Как вы относитесь к обилию литературных премий в наши дни? — Это, думаю, не столько показатель успехов литературы, сколько своего рода допинг, вкалываемый культуре. Шум, имитирующий бурную литературную жизнь и большие успехи. Не хочу сказать, что сейчас нет хороших писателей, но в целом картина, ей-богу, грустная. Стонали-стонали под гнетом тоталитаризма, боролись-боролись за правду, жалги-жалги свободы — и вот свобода грянула — и что? Где шедьверы и открытия? Где слезы читателей? Вместо настоящей культуры — обилие культурных акций. Впрочем, это уже тривиально, всем все ясно. Не всем ясно другое. Свобода, взятая отдельно от других ценностей, изъятая из их питательной среды, превращенная в абсолют, в фетиш, в самоцель, тут же разлагается и начинает дурно пахнуть. Сейчас есть писатели, а литературы русской нет. И неудивительно: с модной идеей насчет того, что, мол, хватит литературе быть служением, надо быть игрой, как в «цивилизованном мире», с этим литература русская перестанет быть великой державой, какой была, и станет банановой республикой. Еще раз повторю: каждый должен делать свое дело, а не чужое, это и к русской литературе относится. Впрочем, может, не надо слишком увязываться: в конце концов второ- и третьестепенные сочинители всегда уважали почву, на которой выросло великое.

— У нас получилась очень серьезная беседа. Как складываются ваши отношения с юмором, смехом? Занимались ли смеховой культурой? Признаете ли юмор на бытовом уровне, в форме, например, анекдотов? — Неужели я произвожу впечатление человека без юмора? Как жаль. Да, сложилось так, что я все время думаю об очень серьезных вещах. Жизнь заставляet. Но я очень смешился. В «Вопросах литературы» я всегда сочинял обращения к нашим именитикам. В прозе и стихах, от которых все валялись. Хотел бы написать о смехе и юморе Пушкина, да руки не доходят. Хорошие анекдоты бесконечно люблю, и сам умею их рассказывать. Только не с эстрады. Анекдот прекрасен дома, в тесной компании, за столом, пожалуй, и в полвороте, пусть один на один — но только не как эстрадный номер: это девальвация жанра. Смеховой культурой не занимался, да мне и не нужно было, этой культуры у меня достаточно дома: самая смешная артистка на свете — это моя жена, изумительная, неповторимая актриса Татьяна Непомнящая, которой когда-то зал Центрального Дома литераторов аплодировал стоя, которую знала театральная публика многих городов Союза, куда приезжал театр «Скоморохов» под руководством Юденича, в которую играли дети всей страны — зрители телепередачи «Абелегейда» (клоун Сеня — Фарада, клоун Саня — Филиппенко, клоун Владимир Иванович — Точилин и клоун Таня), и которую теперь видят в эпизоде фильма Митты «Гори, гори, моя звезда», — а это всегда праздник. А вот я ее — не актрису, а жену, — вижу каждый день: праздник, который всегда со мной.

Валентин Семенович Непомнящий родился в 1934 году в Ленинграде. Закончил классическое отделение филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Член союза писателей. Доктор филологических наук (доклад «Феномен Пушкина как научная проблема», 1999). Заведующий сектором изучения Пушкина, председатель Пушкинской комиссии Института мировой литературы (ИМЛИ) РАН. Автор книг «Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина» (изд. 2-е, дополн., М., 1987), «Поэзия и судьба. Книга о Пушкине» (изд. 3-е, дополн., М., 1999), «Пушкин. Русская картина мира» (М., 1999); последняя выдвинута журналом «Новый мир» на соискание Государственной премии Российской Федерации. Имеет государственную награду — «Медаль Пушкина» (1999). Женат, имеет сына.

250